
Сентиментальное путешествие

[Виктор ШКЛОВСКИЙ \(1893-1984\)](#) - 02 марта 2017

Body

Виктор ШКЛОВСКИЙ (1893-1984)

.

Сентиментальное путешествие

(фрагмент из воспоминаний 1917-1922)

.

К100-летию Февральской революции: взгляд современника – известного русского советского писателя, литературоведа, критика, киноведа и киносценариста.

После начала Первой мировой войны осенью 1914 года Виктор Борисович ушёл добровольцем в армию. Сменил несколько военных специальностей и в 1915 году вернулся в Петроград, где служил в школе броневых офицеров-инструкторов. Принял активное участие в Февральской революции, был избран членом комитета петроградского Запасного броневое дивизиона, в качестве его представителя участвовал в работе Петроградского совета. Как помощник комиссара Временного правительства был направлен на Юго-Западный фронт, где 3 июля 1917 лично возглавил атаку одного из полков, был ранен в живот навывлет и получил Георгиевский крест 4-й степени из рук Л.Г. Корнилова. После выздоровления в качестве помощника комиссара Временного правительства был направлен в Отдельный Кавказский кавалерийский корпус в Персию, где организовывал эвакуацию российских войск и вернулся с ними в Петроград в начале января 1918 года.

.

Перед революцией

.

Перед революцией я работал как инструктор Запасного броневое дивизиона – состоял на привилегированном солдатском положении. Никогда не забуду ощущение того страшного гнёта, которое испытывал я и мой брат, служивший штабным писарем. Помню воровскую побегку по улице после 8 часов и трехмесячное безысходное сидение в казармах, а главное – трамвай. Город был обращён в военный лагерь. "Семишники" – так звали солдат военных патрулей за то, что они – говорилось – получали по две копейки за каждого арестованного, – ловили нас, загоняли во дворы, набивали комендантство. Причиной этой войны было переполнение солдатами вагонов трамвая и отказ солдат платить за проезд. Начальство считало этот вопрос – вопросом чести. Мы, солдатская масса, отвечали им глухим озлобленным саботажем. Может быть, это ребячество, но я уверен, что сидение без отпуска в казармах, где забранные и оторванные от дела люди гноились без всякого дела на нарах, казарменная тоска, тёмное томление и злоба солдат на то, что за ними

охотились по улицам, – все это больше революционизировало петербургский гарнизон, чем постоянные военные неудачи и упорные, всеобщие толки об "измене".

На трамвайные темы создавался специальный фольклор, жалкий и характерный. Например: сестра милосердия едет с ранеными, генерал привязывается к раненым, оскорбляет и сестру; тогда она скидывает плащ и оказывается в мундире великой княгини; так и говорили: "в мундире". Генерал становится на колени и просит прощения, но она его не прощает. Как видите – фольклор ещё совершенно монархический. Рассказ этот прикрепляется то к Варшаве, то к Петербургу. Рассказывалось об убийстве казаком генерала, который хотел стащить казака с трамвая и срывал его кресты. Убийство из-за трамвая, кажется, действительно случилось в Питере, но генерала я отношу уже к эпической обработке; в ту пору на трамваях генералы ещё не ездили, – исключая отставных бедняков.

Агитации в частях не было; по крайней мере, я могу это сказать про свою часть, где я проводил с солдатами всё время с пяти-шести утра до вечера. Я говорю про партийную агитацию; но и при её отсутствии все же революция была как-то решена, – знали, что она будет, думали, что разразится после войны. Агитировать в частях было некому, партийных людей было мало, если были, так среди рабочих, которые почти не имели с солдатами связи; интеллигенция – в самом примитивном смысле этого слова, т.е. все, имеющие какое-нибудь образование, хоть два класса гимназии, – была произведена в офицеры и вела себя, по крайней мере, в петербургском гарнизоне, не лучше, а может быть – хуже кадрового офицерства; прапорщик был не популярен, особенно тыловой, зубами вцепившийся в Запасный батальон [дивизион]. О нём солдаты пели:

Прежде рылся в огороде,

Теперь – ваше благородие.

Из этих людей многие виноваты лишь в том, что слишком легко поддались великолепно поставленной муштровке военных училищ. Многие из них впоследствии искренно были преданы делу революции, правда, так же легко поддавшись её влиянию, как прежде легко одержимордились. История с Распутиным была широко распространена. Я не люблю этой истории; в том, как рассказывалась она, было видно духовное гниение народа. Послереволюционные листки, все эти "Гришки и его делишки" и успех этой литературы показали мне, что для очень широких масс Распутин явился своеобразным национальным героем, чем-то вроде Ваньки Ключника. Но вот в силу разнообразных причин, из которых одни прямо царапали нервы и создавали повод для вспышки, а другие действовали изнутри, медленно изменяя психику народа, ржавые, железные обручи, стягивающие массу России, – натянулись.

Продовольствие города все ухудшалось, по тогдашним меркам оно стало плохо. Ощущалась нехватка хлеба, у хлебных лавок появились хвосты, на Обводном канале уже начали бить лавки, и те счастливы, которые сумели получить хлеб, несли его домой, держа крепко в руках, глядя на него влюблено. Покупали хлеб у солдат, в казармах

исчезли корки и куски, прежде представляющие вместе с кислым запахом неволи "местные знаки" казарм. Крик "хлеба" раздавался под окнами и у ворот казарм, уже плохо охраняемых часовыми и дежурными, свободно пропускавшими на улицу своих товарищей. Казарма, разуверившаяся в старом строе, прижатая жестокой, но уже неуверенной рукой начальства, забродила. К этому времени кадровый солдат, да и вообще солдат 22-25 лет, был редкостью. Он был зверски и бестолково перебит на войне.

Кадровые унтер-офицеры были влиты в качестве простых рядовых в первые же эшелоны и погибли в Пруссии, под Львовом и при знаменитом "великом" отступлении, когда русская армия вымостила всю землю своими трупами. Питерский солдат тех дней – это недовольный крестьянин или недовольный обыватель. Эти люди, даже не переодетые в серые шинели, а просто наспех завернутые в них, были сведены в толпы, банды и шайки, называемые запасными батальонами. В сущности говоря, казармы стали просто кирпичными загонами, куда все новыми и новыми, зелёными и красными бумажками о призывах загонялись стада человечины. Численное отношение командного состава к солдатской массе было, по всей вероятности, не выше, чем надсмотрщиков к рабам на невольничьих кораблях. А за стенами казармы ходили слухи, что "рабочие собираются выступить", что "колпинцы 18 февраля хотят идти к Государственной думе".

У полукрестьянской, полумещанской солдатской массы было мало связей с рабочими, но все обстоятельства складывались так, что создавали возможность некоторой детонации. Помню дни накануне. Мечтательные разговоры инструкторов-шоферов, что хорошо было бы угнать броневик, пострелять в полицию, а потом бросить броневик где-нибудь за заставой и оставить на нем записку: "Доставить в Михайловский манеж". Очень характерная черта: забота о машине осталась. Очевидно, у людей ещё не было уверенности в том, что можно опрокинуть старый строй, хотели только пошуметь. А на полицию сердились давно, главным образом за то, что она была освобождена от службы на фронте. Помню, недели за две до революции мы, идя командой (приблизительно человек в двести), улюлюкали на отряд городских и кричали: "Фараоны, фараоны!"

Февральская революция

В последние дни февраля народ буквально рвался на полицию, отряды казаков, высланные на улицу, никого не трогая, ездили, добродушно посмеиваясь. Это очень поднимало бунтарское настроение толпы. На Невском стреляли, убили несколько человек, убитая лошадь долго лежала недалеко от угла Литейного. Я запомнил ее, тогда это было непривычно. На Знаменской площади казак убил пристава, который ударил шашкой демонстрантку. На улицах стояли нерешительные патрули. Помню сконфуженную пулеметную команду с маленькими пулеметами на колесиках (станок Соколова), с пулеметными лентами на вьюках лошадей; очевидно, какая-то вьючно-пулеметная команда. Она стояла на Бассейной, угол Басковой улицы; пулемёт, как маленький зверёныш, прижался к мостовой, тоже сконфуженный, его обступила толпа, не нападающая, но как-то напирившая плечом, безрукая. На Владимирском стояли патрули Семеновского полка – каиновой репутации.

Патрули стояли нерешительно: "Мы ничего, мы как другие". Громадный аппарат принуждения, приготовленный правительством, буксовал. В ночь не выдержали волынцы, сговорились, по команде "на молитву" бросились к винтовкам, разбили цейхгауз, взяли патроны, выбежали на улицу, присоединили к себе несколько маленьких команд, стоящих вокруг, и поставили патрули в районе своей казармы – в Литейной части. Между прочим, волынцы разбили нашу гауптвахту, находящуюся рядом с их казармой. Освобожденные арестованные явились в команду по начальству; офицерство наше заняло нейтралитет, оно было тоже в своеобразной оппозиции "Вечернего времени". Казарма шумела и ждала, когда придут выгонять её на улицу. Наши офицеры говорили: "Делайте, что сами знаете". На улицах, в моем районе, уже отбирали оружие у офицеров какие-то люди в штатском, кучками выскакивая из ворот.

.

У ворот, несмотря на одиночные выстрелы, стояло много народа, даже женщины и дети. Казалось, что ждали свадьбы или пышных похорон. Ещё за три-четыре дня до этого наши машины были приведены по приказанию начальства в негодность. В нашем гараже инженер-вольноопределяющийся Белинкин отдал снятые части на руки солдатам-рабочим своего гаража. Но броневые машины нашего гаража были переведены в Михайловский манеж. Я пошёл в манеж, он был уже полон людьми, угоняющими автомобили. На броневых машинах не хватало частей. Мне показалось необходимым поставить на ноги прежде всего пушечную машину "ланчестер". Запасные части были у нас в школе. Пошёл в школу. Встревоженные дежурные и дневальные были на местах. Это меня тогда удивило. Впоследствии, когда в конце 1918 года я подымал в Киеве панцирный дивизион против гетмана, я увидел, что почти все солдаты называли себя дежурными и дневальными, и уже не удивился.

.

В школе меня очень любили; солдат, открывший мне двери, спросил меня: "Вы, Виктор Борисович, за народ?" – и на утвердительный ответ стал целоваться. Мы все много целовались тогда. Мне дали части и даже обещали, что не скажут, кто взял. Я пошёл в команду. До сих пор не знаю: пришли снимать её или она снялась и разошлась сама? Люди бродили вокруг казармы. Взял двух бригадиров гаража: Гнутова и Близняка, инструменты и пошёл с ними ремонтировать машину. Всё это было днем, через два-три часа после выступления волынцев – день первый. Не понимаю, как утеснилось столько событий в этот день. Броневик мы взяли и буксиром приволокли в гараж на Ковенский, где и начали ремонтировать, заняв помещение и порвав телефоны; возились до вечера. Оказалось, что в бензиновый бак была налита вода. Вода замерзла, пришлось выкалывать лёд и высушивать бак концами. В перерыве работы забежал к одному знакомому литератору.

.

У него в комнатах было тесно и жарко, стол был заставлен едой, табачный дым стоял стеной, все играли в "тетку", и играли ещё невылазно два дня. Этот человек потом очень скоро и очень искренне стал партийным, большевиком; коммунистами стали и почти все сидевшие тогда за столом. А я так четко и сейчас помню ещё их высокомерную иронию к "беспорядку на улице"! Ещё раньше всего этого в городе была объявлена забастовка. Трамваи не ходили. Останавливали тех извозчиков, которые не присоединились к забастовке. На углу Садовой и Невской встретил знакомого доцента, талантливейшего и сумбурнейшего человека, который прежде стоял близко к академистам, кажется, по пьяному делу. Он кричал и командовал группой, останавливающей экипажи. Этот человек был трезв, но совершенно вне себя.

Район вокруг Государственной думы уже охватило восстание. Близость Волынских казарм к Таврическому дворцу, который вообще находился в районе казарм – Волынская, Преображенская, Литовская, Саперная казармы (на Шпалерной) – и память о думских речах (в последнюю очередь) – делали Думу центром восстания. Кажется, первый отряд был приведен в Думу товарищем Линде, впоследствии убитым солдатами Особой армии, где он был комиссаром. Это тот Линде, который вывел Финляндский полк в апреле и пытался арестовать Временное правительство после знаменитой ноты Милюкова. Наш броневик вышел и начал метаться по городу. Тёмные улицы были оживлены негустыми группами людей. Говорили, что стреляют городовые, то тут, то там. Были на Сампсоньевском мосту, видали городовых, но стрелять по ним не успели, все они разбежались. Кое-где уже разбивали винные погреба, товарищи мои хотели взять вино, которое раздавали, но, когда я сказал, что этого делать не надо, они не стали спорить.

В это же время броневики с Дворянской улицы тоже вышли с товарищем Анардовичем и Огоньянцем во главе, они сразу заняли Петербургскую сторону и пошли к Думе. Не знаю, кто сказал нам, чтобы мы ехали тоже к Думе. У подъезда её стоял уже, кажется, броневик "гарфорд". В дверях Думы встретил старого товарища по военной службе, вольноопределяющегося, тогда уже прапорщика-артиллера, Л. Поцеловались друг с другом. Было хорошо. Река несла всех, и вся мудрость состояла в том, чтобы отдаваться течению. Наступила ночь. В Таврическом дворце был полный хаос. Привозили оружие, приходили люди, пока ещё одиночные, тащили провизию, реквизированную где-то; в комнате у подъезда были сложены мешки. Уже приводили арестованных. В Думе какая-то барышня утвердила меня в должности командира машины и даже дала какую-то боевую задачу. Снаряды для пушки у меня были, не знаю, где я их достал, кажется, ещё в манеже. Боевых задач я, конечно, не выполнил, да их и никто не выполнял.

Спал час или два на шубе за колонной. В Думе встретил Суханова. Я знал его по редакции "Летописи", в литературном отделе которой я сотрудничал (помещал библиографические заметки). Но я читал в редакции доклад по поэтике, где рассматривал искусство как чистую форму и ожесточенно спорил с марксистами. Вот, по всей вероятности, почему Суханов удивился мне; я и вооруженное восстание не вязались в его сознании. А я удивился ему по своей политической наивности; я и не знал, что уже собрались и организовались политические центры. Конечно, они в тот момент еще не влияли на события. Масса шла, как сельдь или вобла, мечущая икру, повинуюсь инстинкту. Ночью же привезли арестованного поручика Д., командира броневых мастерских. Конвойные чувствовали себя не очень уверенно, арестованный же обратился ко мне с упреками: "Что, вам было плохо у капитана Соколихина??, что вы пошли против него?". Я ответил ему, что ничего не имею против капитана Соколихина. Через полчаса поручик вышел веселый. Военная комиссия при Государственной думе поручила ему как одному из первых "прибывших" автомобильных офицеров организовать все автомобильное дело в Петербурге.

Этот человек, хитрый и по-своему умный, с аппетитом если не к власти, то к месту, впоследствии ходил в анархистах-коммунистах. Я остановился на нем потому что он был первым жокеем на скачках за местами, которого я увидел. Впоследствии я видал толпы таких людей. Ранним утром выехали опять в город. Кто-то дал мне какую-то боевую задачу и даже артиллера-руководителя; я потерял этого руководителя, или он меня

потерял, и влился в веселый ералаш восставшего народа. Подъехал к Преображенским казармам, что на Миллионной. Кто-то сказал, что преображенцы сопротивляются. Подъехали. Было дивное синее солнечное утро. С весёлой стрельбой выбегали из казарм восставшие преображенцы в новых шинелях с очень яркими красными петлицами. По местам пытались сопротивляться. Отстреливались, кажется, учебные команды 6-го саперного батальона и Московского полка. Самокатчики в Лесном держались довольно долго. Я думаю, что это произошло оттого, что к ним пришли одни рабочие без солдат и они боялись присоединиться.

.

На них послали броневые "фиаты" и отбили угол деревянной казармы вместе с людьми. Ночью погиб один из наших броневиков, Федор Богданов. Он на машине с открытой броней въехал в засаду городских (единственную правильно поставившую пулемет в окне подвала, а не на крыше, откуда пулемет только такает, так его огонь не имеет тогда никакой настильности). Тело Богданова не лежит на Марсовом поле, родные взяли труп и увезли куда-то за город. Теперь о пулеметах на крышах. Меня вызывали сбивать их в продолжение чуть ли не двух недель. Обычно, когда казалось, что стреляют из окна, начинали беспорядочно стрелять по дому из винтовок, и пыль от штукатурки, подымающуюся в местах попаданий, принимали за ответный огонь. Я убежден, что главная масса убитых во время Февральской революции убита нашими же пулями, прямо падающими на нас сверху.

.

Команда моя обыскала почти весь район Владимирский, Кузнечный, Ямской и Николаевский, и я не имею ни одного положительного заявления о находке пулемета на крыше. А вот в воздух мы стреляли очень много, даже из пушек. У меня на машине перебивало очень много пушкарей. Помню особенно первого, раненного в руку и оставшегося у пушки. Это был жандарм из казарм на Кирочной. Он говорил, что жандармы перешли на сторону восставших одними из первых. И все пушкарки просом просили у меня позволения выстрелить, чтобы показать, что у нас даже пушки есть, и стреляли на Невском в воздух.

.

В этот день я пробыл почти все время в дежурстве у Николаевского вокзала. Вокзал не охранялся никем, я предлагал (в воздух – предлагать было некому) занять верхний этаж «Северной» и «Знаменской» гостиниц, чтобы держать весь вокзал под обстрелом, но у нас не было никаких сил. Если ставили из забежавших солдат караул, то караул или уходил, или стоял до обморока и все же не дожидался смены. Комендантами были – или я принимал их за комендантов – безрукий студент и очень старый флотский офицер в форме, кажется, мичмана. Он был страшно утомлен. Приходили поезда с какими-то эшелонами, они куда-то, откуда-то ехали; мы подъезжали к ним с броневой машиной и четырьмя или пятью пехотинцами, и усталый мичман говорил офицерам эшелонов: "Город находится в руках восставшего народа, желаете ли вы присоединиться к восставшему народу?" Из вагонов тарасились на нас люди и лошади. Офицеры отвечали, что они – "ничего", они едут мимо; солдаты смотрели на нас, и мы не знали: слезут или не слезут они из высокого вагона.

.

Приходили на помощь броневые машины со знакомыми шоферами. Стояли, потом уходили. А по городу металась музыка и эринии Февральской революции – грузовики и автомобили, обсаженные и обложенные солдатами, едущими неизвестно куда,

получающими бензин неизвестно где, дающие впечатление красного звона по всему городу. Они метались, и кружились, и жужжали, как пчелы. Это было иродово избиение машин. Бесчисленные автомобильные школы на выпускали для заполнения автомобильных рот целые тучи шоферов с получасовой практикой. И вот теперь радовались эти полушоферские души, дорвавшись до машины. Хряск шел по городу. Я не знаю, сколько случаев столкновения видал я за эти дни в городе. Одним словом, все мои ученики в два дня научились ездить. Потом город наполнился брошенными на произвол судьбы автомобилями.

Питались мы в питательных пунктах, где из натащенного материала, из гусей и колбасы варили чудовищно жирную пищу. Я был счастлив вместе с этими толпами. Это была Пасха и веселый масленичный наивный безалаберный рай. К этому времени почти все вооружились отобранным у офицеров, а главным образом арсенальным оружием. Оружия было много, оно ходило по рукам, не продавалось, а передавалось свободно. Было много прекрасных "кольтов". Боевой силы мы не представляли никакой, но мы как-то не думали над этим. Были ночи паники, ночи, когда ждали нападения каких-то эшелонов. А петербургский гарнизон все увеличивался и увеличивался. Пришли, ведя за собой на веревочках пулеметы, везя пулеметы без станков, наваленные, как дрова, на грузовик, пришли обвитые пулеметными лентами солдаты пулеметных полков и школ Стрельни и Ораниенбаума. Около Стрельни передовая группа идущих встретила какого-то полковника, едущего на автомобиле. Полковник слегка был похож на Николая. Он был встречен бурным, исступленным восторгом, пока ошибка не выяснилась.

Пулеметы прибыли в Питер негодными к действию, главная масса их была, например, без сальников, и в них нельзя было налить воды. Их было слишком много, но число нашу боевую силу не увеличивало. Помню, как вокруг Балтийского и Варшавского вокзалов расставили пулеметы буквально через шаг. Конечно, при таком расположении стрелять было бы страшно неудобно. Но боевая сила была не важна. Начинало выясняться, что сейчас у восставшего Питера нет противника. На стороне восставших появились офицеры, пришло строем Михайловское артиллерийское училище. Немного позже присоединился 1-й Запасный полк вместе с офицерами. наших офицеров собрал по квартирам один очень энергичный еврей-инженер, вольноопределяющийся, фактически уже года полтора управляющий школой. Офицеры собрались. Достали командира дивизиона; временных командиров за это время перебивало у нас уже штуки три, но они, получив бумажку от Государственной думы, куда-то исчезали.

Собрались. Нерешительно решили присоединиться к восставшим, даже оказывать сопротивление правительственным войскам. Временное правительство уже существовало. Решили также, в отличие от невосставших, надеть красные - сначала хотели малиновые - повязки на рукав. Фактически воинские части в это время не существовали. Даже не варился обед. Команды были распылены. Михайловский манеж занят. Машины разъехались неизвестно куда. В несколько лучшем положении была наша команда Взводы поочередно несли дежурство и являлись на вызовы, даже ночные. Были поставлены патрули, которые начали ловить без дела бегающие по городу автомобили и собирать их во двор части. Таким образом было спасено много машин. Но с брошенных и замороженных машин уже были сняты магнето, которые сильно подешевели после революции. Команда приобрела благодаря странному, разнокалиберному вооружению пестрый вид вооружения гимназистов. От того времени сохранились две кинематографических фильмы. На одной изображено кормление голубей на дворе

команды, на другой – боевой выход команды с броневым "остинком" во главе и с солдатами, идущими сзади с офицерскими шашками наголо.

С офицерами у нас дело обстояло не очень остро. Нашего начальника капитана Соколихина все любили за то, что он не тянул команду и исправно хлопотал о ботинках для нее. Ему в первый день революции дали шоферскую шубу без погон и вооруженную охрану из пяти человек, чтобы чужие не обидели. У другого офицера не отобрали на улице оружия, потому что оно было георгиевское. Начались перевыборы офицеров, команда мастерских заявила отвод против старого командира дивизиона. Начались интриги и добывание места при помощи солдат. А к Таврическому дворцу все шли и шли войска, от топота ног чуть не проваливались мостовые, и от красного цвета шло непрерывное сверкание. Совет уже заседал, но еще не было приказа № 1, и Родзянко был популярен в частях. А Совет заседал в вооружении, с криком и с наступом. Для многих частей, пришедших в Таврический дворец, речи Чхеидзе и др. были первые революционные речи, ими услышанные. Что думали про войну? Мне кажется, верили в то, что она сама кончится; вера эта была всеобщей ко времени воззвания к народам всего мира. Помню, что приехавшие с Моонзундской позиции говорили, что там уже сговорились с немцами: ни мы, ни они стрелять не будут. В общем преобладало пасхальное настроение, было хорошо, и верилось, что это только начало всего хорошего.

Приказ № 1 был привезен и разбросан по рядам в манеже во время парада. Стали отвечать: "Здравствуйте, господин полковник!" – и отвечали очень удачно, умело, дружно. Я думаю, что приказ № 1 – хотя он, казалось, и предупреждал события – комитетов в частях ещё не было – был своевременным и необходимым. Нельзя было держать части с одними офицерами, только что вернувшимися из долговременной отлучки. Хотя комитеты совершенно невозможны в армии – даже менее, чем выборное начальство, – но они были единственным, на чём хоть как-нибудь держалась армия. Самое плохое в комитетах было то, что они страшно скоро отрывались от своих выборщиков. Да и делегаты Совета не являлись в свои части чуть ли не месяцами. Солдаты были совершенно не осведомлены о том, что делается в Советах. Помогало делу только то громадное доверие, еще не растраченное, которое имело "свое" солдатское представительство. В первый Совет в большом количестве прошли вольноопределяющиеся и интеллигентные солдаты; конечно, это способствовало отрыву.

С другой стороны, по казармам почти никто не работал, интеллигенция оказалась в бегах, людей, пожелавших работать в области просвещения, почти не оказывалось. В Саперном – кажется, шестом – батальоне из нескольких сотен вольноопределяющихся менее десяти подписали лист о согласии работать в школах грамотности. Большинство же пользовалось революцией как неожиданным отпуском. В нашей части в комитет прошли взводные и старшие мастеровые – он имел деловой характер. А полки за полками всё шли через Екатерининский зал Таврического дворца. На плакатах было ещё "Доверие Временному правительству" и даже "Война до полной победы". Но воевать мы уже не могли. Пока пишу только о петербургском гарнизоне. Громадные – до нескольких десятков тысяч – запасные части, которые уже не отсылали эшелонов на фронт и в то же время не имели никакого дела в городе, так как они не могли защищать революцию за неимением оружия, – прели и разлагались в своих казармах. Ещё никто не говорил слов: "Мир во что бы то ни стало". Ещё не приехал Ленин, ещё большевики говорили, что винтовку нужно держать наизготове, но гарнизона уже не было, был только склад солдат. Массы ещё сверкали пламенем революции, но это не было жаркое пламя кокса, а жидкий

огонь разлитого спирта, сгорающего, не успевая зажечь дерево, которое он облил.

.

Таким огнём был Керенский. Я увидел в первый раз Керенского на его генеральной истерике, когда он после статьи в "Известиях", направленной против него, вбежал в Солдатский Совет спрашивать - "доверяют ли ему". Он бросал мятые фразы и, действительно, казался сверкающим сухими, длинными, трещащими искрами. С измученным лицом человека, дни которого уже кончаются, кричал он и в изнеможении наконец упал в кресло. Это произвело страшное впечатление. В другой раз я увидел Керенского, когда уже был назначен комиссаром. Ловил его для переговоров и изловил у Морского корпуса. Нашёл его серый "локомобиль" и стал ждать, разговаривая с шофером. "Сейчас вынесут", - сказал шофер. И действительно через несколько минут из дверей корпуса вынесли Керенского. Он сидел в обычной усталой позе на стуле, высоко поднятом над толпой. Я сел к нему в автомобиль и начал говорить. С сухими, бескровными губами, с худым и отекившим лицом и с охрипшим голосом, он сказал, слабо сжав руки: "Главное - воля и настойчивость". Мне он показался человеком, уже сорвавшим свои силы, человеком, который знает, что он обречён уже.

.

Берлин, 1923

Фрагмент из воспоминаний 1917-1922

.

К 100-летию Февральской революции: взгляд современника - известного русского советского писателя, литературоведа, критика, киноведа и киносценариста.

После начала Первой мировой войны осенью 1914 года Виктор Борисович ушёл добровольцем в армию. Сменил несколько военных специальностей и в 1915 году вернулся в Петроград, где служил в школе броневых офицеров-инструкторов. Принял активное участие в Февральской революции, был избран членом комитета петроградского Запасного броневых дивизиона, в качестве его представителя участвовал в работе Петроградского совета. Как помощник комиссара Временного правительства был направлен на Юго-Западный фронт, где 3 июля 1917 лично возглавил атаку одного из полков, был ранен в живот на вылет и получил Георгиевский крест 4-й степени из рук Л.Г. Корнилова. После выздоровления в качестве помощника комиссара Временного правительства был направлен в Отдельный Кавказский кавалерийский корпус в Персию, где организовывал эвакуацию российских войск и вернулся с ними в Петроград в начале января 1918 года.

.

Перед революцией

.

Перед революцией я работал как инструктор Запасного броневых дивизиона - состоял на привилегированном солдатском положении. Никогда не забуду ощущение того страшного гнёта, которое испытывал я и мой брат, служивший штабным писарем. Помню воровскую побегу по улице после 8 часов и трехмесячное безысходное сидение в казармах, а главное - трамвай. Город был обращён в военный лагерь. "Семишники" - так звали солдат военных патрулей за то, что они - говорилось - получали по две копейки за каждого

арестованного, – ловили нас, загоняли во дворы, набивали комендантство. Причиной этой войны было переполнение солдатами вагонов трамвая и отказ солдат платить за проезд. Начальство считало этот вопрос – вопросом чести. Мы, солдатская масса, отвечали им глухим озлобленным саботажем. Может быть, это ребячество, но я уверен, что сидение без отпуска в казармах, где забранные и оторванные от дела люди гноились без всякого дела на нарах, казарменная тоска, тёмное томление и злоба солдат на то, что за ними охотились по улицам, – все это больше революционизировало петербургский гарнизон, чем постоянные военные неудачи и упорные, всеобщие толки об "измене".

.

На трамвайные темы создавался специальный фольклор, жалкий и характерный. Например: сестра милосердия едет с ранеными, генерал привязывается к раненым, оскорбляет и сестру; тогда она скидывает плащ и оказывается в мундире великой княгини; так и говорили: "в мундире". Генерал становится на колени и просит прощения, но она его не прощает. Как видите – фольклор ещё совершенно монархический. Рассказ этот прикрепляется то к Варшаве, то к Петербургу. Рассказывалось об убийстве казаком генерала, который хотел стащить казака с трамвая и срывал его кресты. Убийство из-за трамвая, кажется, действительно случилось в Питере, но генерала я отношу уже к эпической обработке; в ту пору на трамваях генералы ещё не ездили, – исключая отставных бедняков.

.

Агитации в частях не было; по крайней мере, я могу это сказать про свою часть, где я проводил с солдатами всё время с пяти-шести утра до вечера. Я говорю про партийную агитацию; но и при её отсутствии все же революция была как-то решена, – знали, что она будет, думали, что разразится после войны. Агитировать в частях было некому, партийных людей было мало, если были, так среди рабочих, которые почти не имели с солдатами связи; интеллигенция – в самом примитивном смысле этого слова, т.е. все, имеющие какое-нибудь образование, хоть два класса гимназии, – была произведена в офицеры и вела себя, по крайней мере, в петербургском гарнизоне, не лучше, а может быть – хуже кадрового офицерства; прапорщик был не популярен, особенно тыловой, зубами вцепившийся в Запасный батальон [дивизион]. О нём солдаты пели:

.

Прежде рылся в огороде,

Теперь – ваше благородие.

.

Из этих людей многие виноваты лишь в том, что слишком легко поддались великолепно поставленной муштровке военных училищ. Многие из них впоследствии искренно были преданы делу революции, правда, так же легко поддавшись её влиянию, как прежде легко одержимордились. История с Распутиным была широко распространена. Я не люблю этой истории; в том, как рассказывалась она, было видно духовное гниение народа. Послереволюционные листки, все эти "Гришки и его делишки" и успех этой литературы показали мне, что для очень широких масс Распутин явился своеобразным национальным героем, чем-то вроде Ваньки Ключника. Но вот в силу разнообразных причин, из которых одни прямо царапали нервы и создавали повод для вспышки, а другие действовали изнутри, медленно изменяя психику народа, ржавые, железные обручи, стягивающие массу России, – натянулись.

Продовольствие города все ухудшалось, по тогдашним меркам оно стало плохо. Ощущалась нехватка хлеба, у хлебных лавок появились хвосты, на Обводном канале уже начали бить лавки, и те счастливицы, которые сумели получить хлеб, несли его домой, держа крепко в руках, глядя на него влюблено. Покупали хлеб у солдат, в казармах исчезли корки и куски, прежде представляющие вместе с кислым запахом неволи "местные знаки" казарм. Крик "хлеба" раздавался под окнами и у ворот казарм, уже плохо охраняемых часовыми и дежурными, свободно пропускавшими на улицу своих товарищей. Казарма, разуверившаяся в старом строе, прижатая жестокой, но уже неуверенной рукой начальства, забродила. К этому времени кадровый солдат, да и вообще солдат 22-25 лет, был редкостью. Он был зверски и бестолково перебит на войне.

Кадровые унтер-офицеры были влиты в качестве простых рядовых в первые же эшелоны и погибли в Пруссии, под Львовом и при знаменитом "великом" отступлении, когда русская армия вымостила всю землю своими трупами. Питерский солдат тех дней – это недовольный крестьянин или недовольный обыватель. Эти люди, даже не переодетые в серые шинели, а просто наспех завернутые в них, были сведены в толпы, банды и шайки, называемые запасными батальонами. В сущности говоря, казармы стали просто кирпичными загонами, куда все новыми и новыми, зелёными и красными бумажками о призывах загонялись стада человечины. Численное отношение командного состава к солдатской массе было, по всей вероятности, не выше, чем надсмотрщиков к рабам на невольничьих кораблях. А за стенами казармы ходили слухи, что "рабочие собираются выступить", что "колпинцы 18 февраля хотят идти к Государственной думе".

У полукрестьянской, полумещанской солдатской массы было мало связей с рабочими, но все обстоятельства складывались так, что создавали возможность некоторой детонации. Помню дни накануне. Мечтательные разговоры инструкторов-шоферов, что хорошо было бы угнать броневик, пострелять в полицию, а потом бросить броневик где-нибудь за заставой и оставить на нем записку: "Доставить в Михайловский манеж". Очень характерная черта: забота о машине осталась. Очевидно, у людей ещё не было уверенности в том, что можно опрокинуть старый строй, хотели только пошуметь. А на полицию сердились давно, главным образом за то, что она была освобождена от службы на фронте. Помню, недели за две до революции мы, идя командой (приблизительно человек в двести), улюлюкали на отряд городских и кричали: "Фараоны, фараоны!"

Февральская революция

В последние дни февраля народ буквально рвался на полицию, отряды казаков, высланные на улицу, никого не трогая, ездили, добродушно посмеиваясь. Это очень поднимало бунтарское настроение толпы. На Невском стреляли, убили несколько человек, убитая лошадь долго лежала недалеко от угла Литейного. Я запомнил ее, тогда это было непривычно. На Знаменской площади казак убил пристава, который ударил шашкой демонстрантку. На улицах стояли нерешительные патрули. Помню сконфуженную пулеметную команду с маленькими пулеметами на колесиках (станок Соколова), с пулеметными лентами на вьюках лошадей; очевидно, какая-то вьючно-пулеметная команда. Она стояла на Бассейной, угол Басковой улицы; пулемёт, как маленький

зверёныш, прижался к мостовой, тоже сконфуженный, его обступила толпа, не нападающая, но как-то напирившая плечом, безрукая. На Владимирском стояли патрули Семеновского полка – каиновой репутации.

.

Патрули стояли нерешительно: "Мы ничего, мы как другие". Громадный аппарат принуждения, приготовленный правительством, буксовал. В ночь не выдержали волынцы, сговорились, по команде "на молитву" бросились к винтовкам, разбили цейхгауз, взяли патроны, выбежали на улицу, присоединили к себе несколько маленьких команд, стоящих вокруг, и поставили патрули в районе своей казармы – в Литейной части. Между прочим, волынцы разбили нашу гауптвахту, находящуюся рядом с их казармой. Освобожденные арестованные явились в команду по начальству; офицерство наше заняло нейтралитет, оно было тоже в своеобразной оппозиции "Вечернего времени". Казарма шумела и ждала, когда придут выгонять её на улицу. Наши офицеры говорили: "Делайте, что сами знаете". На улицах, в моем районе, уже отбирали оружие у офицеров какие-то люди в штатском, кучками выскакивая из ворот.

.

У ворот, несмотря на одиночные выстрелы, стояло много народа, даже женщины и дети. Казалось, что ждали свадьбы или пышных похорон. Ещё за три-четыре дня до этого наши машины были приведены по приказанию начальства в негодность. В нашем гараже инженер-вольноопределяющийся Белинкин отдал снятые части на руки солдатам-рабочим своего гаража. Но броневые машины нашего гаража были переведены в Михайловский манеж. Я пошёл в манеж, он был уже полон людьми, угоняющими автомобили. На броневых машинах не хватало частей. Мне показалось необходимым поставить на ноги прежде всего пушечную машину "ланчестер". Запасные части были у нас в школе. Пошёл в школу. Встрешенные дежурные и дневальные были на местах. Это меня тогда удивило. Впоследствии, когда в конце 1918 года я подымал в Киеве панцирный дивизион против гетмана, я увидел, что почти все солдаты называли себя дежурными и дневальными, и уже не удивился.

.

В школе меня очень любили; солдат, открывший мне двери, спросил меня: "Вы, Виктор Борисович, за народ?" – и на утвердительный ответ стал целоваться. Мы все много целовались тогда. Мне дали части и даже обещали, что не скажут, кто взял. Я пошёл в команду. До сих пор не знаю: пришли снимать её или она снялась и разошлась сама? Люди бродили вокруг казармы. Взял двух бригадиров гаража: Гнутова и Близняка, инструменты и пошёл с ними ремонтировать машину. Всё это было днем, через два-три часа после выступления волынцев – день первый. Не понимаю, как утеснилось столько событий в этот день. Броневику мы взяли и буксиром приволокли в гараж на Ковенский, где и начали ремонтировать, заняв помещение и порвав телефоны; возились до вечера. Оказалось, что в бензиновый бак была налита вода. Вода замерзла, пришлось выкалывать лёд и высушивать бак концами. В перерыве работы забежал к одному знакомому литератору.

.

У него в комнатах было тесно и жарко, стол был заставлен едой, табачный дым стоял стеной, все играли в "тетку", и играли ещё невылазно два дня. Этот человек потом очень скоро и очень искренне стал партийным, большевиком; коммунистами стали и почти все сидевшие тогда за столом. А я так четко и сейчас помню ещё их высокомерную иронию к "беспорядку на улице"! Ещё раньше всего этого в городе была объявлена забастовка.

Трамваи не ходили. Останавливали тех извозчиков, которые не присоединились к забастовке. На углу Садовой и Невской встретил знакомого доцента, талантливейшего и сумбурнейшего человека, который прежде стоял близко к академистам, кажется, по пьяному делу. Он кричал и командовал группой, останавливающей экипажи. Этот человек был трезв, но совершенно вне себя.

.

Район вокруг Государственной думы уже охватило восстание. Близость Волынских казарм к Таврическому дворцу, который вообще находился в районе казарм – Волынская, Преображенская, Литовская, Саперная казармы (на Шпалерной) – и память о думских речах (в последнюю очередь) – делали Думу центром восстания. Кажется, первый отряд был приведен в Думу товарищем Линде, впоследствии убитым солдатами Особой армии, где он был комиссаром. Это тот Линде, который вывел Финляндский полк в апреле и пытался арестовать Временное правительство после знаменитой ноты Милюкова. Наш броневик вышел и начал метаться по городу. Тёмные улицы были оживлены негустыми группами людей. Говорили, что стреляют городовые, то тут, то там. Были на Сампсоньевском мосту, видали городовых, но стрелять по ним не успели, все они разбежались. Кое-где уже разбивали винные погреба, товарищи мои хотели взять вино, которое раздавали, но, когда я сказал, что этого делать не надо, они не стали спорить.

.

В это же время броневики с Дворянской улицы тоже вышли с товарищем Анардовичем и Огоньянцем во главе, они сразу заняли Петербургскую сторону и пошли к Думе. Не знаю, кто сказал нам, чтобы мы ехали тоже к Думе. У подъезда её стоял уже, кажется, броневик "гарфорд". В дверях Думы встретил старого товарища по военной службе, вольноопределяющегося, тогда уже прапорщика-артиллериста, Л. Поцеловались друг с другом. Было хорошо. Река несла всех, и вся мудрость состояла в том, чтобы отдаваться течению. Наступила ночь. В Таврическом дворце был полный хаос. Привозили оружие, приходили люди, пока ещё одиночные, тащили провизию, реквизированную где-то; в комнате у подъезда были сложены мешки. Уже приводили арестованных. В Думе какая-то барышня утвердила меня в должности командира машины и даже дала какую-то боевую задачу. Снаряды для пушки у меня были, не знаю, где я их достал, кажется, ещё в манеже. Боевых задач я, конечно, не выполнил, да их и никто не выполнял.

.

Спал час или два на шубе за колонной. В Думе встретил Суханова. Я знал его по редакции "Летописи", в литературном отделе которой я сотрудничал (помещал библиографические заметки). Но я читал в редакции доклад по поэтике, где рассматривал искусство как чистую форму и ожесточенно спорил с марксистами. Вот, по всей вероятности, почему Суханов удивился мне; я и вооруженное восстание не вязались в его сознании. А я удивился ему по своей политической наивности; я и не знал, что уже собрались и организовались политические центры. Конечно, они в тот момент еще не влияли на события. Масса шла, как сельдь или вобла, мечущая икру, повинуюсь инстинкту. Ночью же привезли арестованного поручика Д., командира броневых мастерских. Конвойные чувствовали себя не очень уверенно, арестованный же обратился ко мне с упреками: "Что, вам было плохо у капитана Соколихина??. что вы пошли против него?". Я ответил ему, что ничего не имею против капитана Соколихина. Через полчаса поручик вышел веселый. Военная комиссия при Государственной думе поручила ему как одному из первых "прибывших" автомобильных офицеров организовать все автомобильное дело в Петербурге.

.

Этот человек, хитрый и по-своему умный, с аппетитом если не к власти, то к месту, впоследствии ходил в анархистах-коммунистах. Я остановился на нем потому что он был первым жокеем на скачках за местами, которого я увидел. Впоследствии я видал толпы таких людей. Ранним утром выехали опять в город. Кто-то дал мне какую-то боевую задачу и даже артиллериста-руководителя; я потерял этого руководителя, или он меня потерял, и влился в веселый ералаш восставшего народа. Подъехал к Преображенским казармам, что на Миллионной. Кто-то сказал, что преображенцы сопротивляются. Подъехали. Было дивное синее солнечное утро. С весёлой стрельбой выбегали из казарм восставшие преображенцы в новых шинелях с очень яркими красными петлицами. По местам пытались сопротивляться. Отстреливались, кажется, учебные команды 6-го саперного батальона и Московского полка. Самокатчики в Лесном держались довольно долго. Я думаю, что это произошло оттого, что к ним пришли одни рабочие без солдат и они боялись присоединиться.

На них послали броневые "фиаты" и отбили угол деревянной казармы вместе с людьми. Ночью погиб один из наших броневиков, Федор Богданов. Он на машине с открытой броней въехал в засаду городских (единственную правильно поставившую пулемет в окне подвала, а не на крыше, откуда пулемет только такает, так его огонь не имеет тогда никакой настильности). Тело Богданова не лежит на Марсовом поле, родные взяли труп и увезли куда-то за город. Теперь о пулеметах на крышах. Меня вызывали сбивать их в продолжение чуть ли не двух недель. Обычно, когда казалось, что стреляют из окна, начинали беспорядочно стрелять по дому из винтовок, и пыль от штукатурки, поднимающуюся в местах попаданий, принимали за ответный огонь. Я убежден, что главная масса убитых во время Февральской революции убита нашими же пулями, прямо падающими на нас сверху.

Команда моя обыскала почти весь район Владимирский, Кузнечный, Ямской и Николаевский, и я не имею ни одного положительного заявления о находке пулемета на крыше. А вот в воздух мы стреляли очень много, даже из пушек. У меня на машине перебивало очень много пушкарей. Помню особенно первого, раненного в руку и оставшегося у пушки. Это был жандарм из казарм на Кировной. Он говорил, что жандармы перешли на сторону восставших одними из первых. И все пушкарки просом просили у меня позволения выстрелить, чтобы показать, что у нас даже пушки есть, и стреляли на Невском в воздух.

В этот день я пробыл почти все время в дежурстве у Николаевского вокзала. Вокзал не охранялся никем, я предлагал (в воздух – предлагать было некому) занять верхний этаж «Северной» и «Знаменской» гостиниц, чтобы держать весь вокзал под обстрелом, но у нас не было никаких сил. Если ставили из забежавших солдат караул, то караул или уходил, или стоял до обморока и все же не дожидался смены. Комендантами были – или я принимал их за комендантов – безрукий студент и очень старый флотский офицер в форме, кажется, мичмана. Он был страшно утомлен. Приходили поезда с какими-то эшелонами, они куда-то, откуда-то ехали; мы подъезжали к ним с броневой машиной и четырьмя или пятью пехотинцами, и усталый мичман говорил офицерам эшелонов: "Город находится в руках восставшего народа, желаете ли вы присоединиться к восставшему народу?" Из вагонов таранились на нас люди и лошади. Офицеры отвечали, что они – "ничего", они едут мимо; солдаты смотрели на нас, и мы не знали: слезут или не слезут они из высокого вагона.

Приходили на помощь броневые машины со знакомыми шоферами. Стояли, потом уходили. А по городу металась музыка и эринии Февральской революции – грузовики и автомобили, обсаженные и обложенные солдатами, едущими неизвестно куда, получающими бензин неизвестно где, дающие впечатление красного звона по всему городу. Они металась, и кружились, и жужжали, как пчелы. Это было иродово избиение машин. Бесчисленные автомобильные школы навывускали для заполнения автомобильных рот целые тучи шоферов с получасовой практикой. И вот теперь радовались эти полушоферские души, дорвавшись до машины. Хряск шел по городу. Я не знаю, сколько случаев столкновения видал я за эти дни в городе. Одним словом, все мои ученики в два дня научились ездить. Потом город наполнился брошенными на произвол судьбы автомобилями.

Питались мы в питательных пунктах, где из натащенного материала, из гусей и колбасы варили чудовищно жирную пищу. Я был счастлив вместе с этими толпами. Это была Пасха и веселый масленичный наивный безалаберный рай. К этому времени почти все вооружились отобранном у офицеров, а главным образом арсенальным оружием. Оружия было много, оно ходило по рукам, не продавалось, а передавалось свободно. Было много прекрасных "кольтов". Боевой силы мы не представляли никакой, но мы как-то не думали над этим. Были ночи паники, ночи, когда ждали нападения каких-то эшелонов. А петербургский гарнизон все увеличивался и увеличивался. Пришли, ведя за собой на веревочках пулеметы, везя пулеметы без станков, наваленные, как дрова, на грузовик, пришли обвитые пулеметными лентами солдаты пулеметных полков и школ Стрельни и Ораниенбаума. Около Стрельни передовая группа идущих встретила какого-то полковника, едущего на автомобиле. Полковник слегка был похож на Николая. Он был встречен бурным, иступленным восторгом, пока ошибка не выяснилась.

Пулеметы прибыли в Питер негодными к действию, главная масса их была, например, без сальников, и в них нельзя было налить воды. Их было слишком много, но число нашу боевую силу не увеличивало. Помню, как вокруг Балтийского и Варшавского вокзалов расставили пулеметы буквально через шаг. Конечно, при таком расположении стрелять было бы страшно неудобно. Но боевая сила была не важна. Начинало выясняться, что сейчас у восставшего Питера нет противника. На стороне восставших появились офицеры, пришло строем Михайловское артиллерийское училище. Немного позже присоединился 1-й Запасный полк вместе с офицерами. наших офицеров собрал по квартирам один очень энергичный еврей-инженер, вольноопределяющийся, фактически уже года полтора управляющий школой. Офицеры собрались. Достали командира дивизиона; временных командиров за это время перебивало у нас уже штуки три, но они, получив бумажку от Государственной думы, куда-то исчезали.

Собрались. Нерешительно решили присоединиться к восставшим, даже оказывать сопротивление правительственным войскам. Временное правительство уже существовало. Решили также, в отличие от невосставших, надеть красные – сначала хотели малиновые – повязки на рукав. Фактически воинские части в это время не существовали. Даже не варился обед. Команды были распылены. Михайловский манеж занят. Машины разъехались неизвестно куда. В несколько лучшем положении была наша команда Взводы поочередно несли дежурство и являлись на вызовы, даже ночные. Были поставлены патрули, которые начали ловить без дела бегающие по городу автомобили и

собирают их во двор части. Таким образом было спасено много машин. Но с брошенных и замороженных машин уже были сняты магнето, которые сильно подшевелили после революции. Команда приобрела благодаря странному, разнокалиберному вооружению пестрый вид вооружения гимназистов. От того времени сохранились две кинематографические фильмы. На одной изображено кормление голубей на дворе команды, на другой – боевой выход команды с броневым "остином" во главе и с солдатами, идущими сзади с офицерскими шашками наголо.

С офицерами у нас дело обстояло не очень остро. Нашего начальника капитана Соколихина все любили за то, что он не тянул команду и исправно хлопотал о ботинках для нее. Ему в первый день революции дали шоферскую шубу без погон и вооруженную охрану из пяти человек, чтобы чужие не обидели. У другого офицера не отобрали на улице оружия, потому что оно было георгиевское. Начались перевыборы офицеров, команда мастерских заявила отвод против старого командира дивизиона. Начались интриги и добывание места при помощи солдат. А к Таврическому дворцу все шли и шли войска, от топота ног чуть не проваливались мостовые, и от красного цвета шло непрерывное сверкание. Совет уже заседал, но еще не было приказа № 1, и Родзянко был популярен в частях. А Совет заседал в вооружении, с криком и с наступом. Для многих частей, пришедших в Таврический дворец, речи Чхеидзе и др. были первые революционные речи, ими услышанные. Что думали про войну? Мне кажется, верили в то, что она сама кончится; вера эта была всеобщей ко времени воззвания к народам всего мира. Помню, что приехавшие с Моонзундской позиции говорили, что там уже сговорились с немцами: ни мы, ни они стрелять не будут. В общем преобладало пасхальное настроение, было хорошо, и верилось, что это только начало всего хорошего.

Приказ № 1 был привезен и разбросан по рядам в манеже во время парада. Стали отвечать: "Здравствуйте, господин полковник!" – и отвечали очень удачно, умело, дружно. Я думаю, что приказ № 1 – хотя он, казалось, и предупреждал события – комитетов в частях ещё не было – был своевременным и необходимым. Нельзя было держать части с одними офицерами, только что вернувшимися из долговременной отлучки. Хотя комитеты совершенно невозможны в армии – даже менее, чем выборное начальство, – но они были единственным, на чём хоть как-нибудь держалась армия. Самое плохое в комитетах было то, что они страшно скоро отрывались от своих выборщиков. Да и делегаты Совета не являлись в свои части чуть ли не месяцами. Солдаты были совершенно не осведомлены о том, что делается в Советах. Помогало делу только то громадное доверие, еще не растраченное, которое имело "свое" солдатское представительство. В первый Совет в большом количестве прошли вольноопределяющиеся и интеллигентные солдаты; конечно, это способствовало отрыву.

С другой стороны, по казармам почти никто не работал, интеллигенция оказалась в бегах, людей, пожелавших работать в области просвещения, почти не оказывалось. В Саперном – кажется, шестом – батальоне из нескольких сотен вольноопределяющихся менее десяти подписали лист о согласии работать в школах грамотности. Большинство же пользовалось революцией как неожиданным отпуском. В нашей части в комитет прошли взводные и старшие мастеровые – он имел деловой характер. А полки за полками всё шли через Екатерининский зал Таврического дворца. На плакатах было ещё "Доверие Временному правительству" и даже "Война до полной победы". Но воевать мы уже не могли. Пока пишу только о петербургском гарнизоне. Громадные – до нескольких десятков тысяч – запасные части, которые уже не отсылали эшелонов на фронт и в то же

время не имели никакого дела в городе, так как они не могли защищать революцию за неимением оружия, – прели и разлагались в своих казармах. Ещё никто не говорил слов: "Мир во что бы то ни стало". Ещё не приехал Ленин, ещё большевики говорили, что винтовку нужно держать наизготове, но гарнизона уже не было, был только склад солдат. Массы ещё сверкали пламенем революции, но это не было жаркое пламя кокса, а жидкий огонь разлитого спирта, сгорающего, не успевая зажечь дерево, которое он облил.

.

Таким огнём был Керенский. Я увидел в первый раз Керенского на его генеральной истерике, когда он после статьи в "Известиях", направленной против него, вбежал в Солдатский Совет спрашивать – "доверяют ли ему". Он бросал мятые фразы и, действительно, казался сверкающим сухими, длинными, трещащими искрами. С измученным лицом человека, дни которого уже кончаются, кричал он и в изнеможении наконец упал в кресло. Это произвело страшное впечатление. В другой раз я увидел Керенского, когда уже был назначен комиссаром. Ловил его для переговоров и изловил у Морского корпуса. Нашёл его серый "локомобиль" и стал ждать, разговаривая с шофером. "Сейчас вынесут", – сказал шофер. И действительно через несколько минут из дверей корпуса вынесли Керенского. Он сидел в обычной усталой позе на стуле, высоко поднятом над толпой. Я сел к нему в автомобиль и начал говорить. С сухими, бескровными губами, с худым и отекившим лицом и с охрипшим голосом, он сказал, слабо сжав руки: "Главное – воля и настойчивость". Мне он показался человеком, уже сорвавшим свои силы, человеком, который знает, что он обречён уже.

.

Берлин, 1923

[Виктор ШКЛОВСКИЙ \(1893-1984\)](#) - 02 марта 2017

<http://webkamerton.ru//2017/03/sentimentalnoe-puteshestvie>